

Всеволод Зельченко  
(Санкт-Петербург)

## К СТОЛЕТИЮ ОДНОГО РУКОПОЖАТИЯ

*Действительность и литература  
в «Обезьяне» В. Ф. Ходасевича*

В статье пересматривается общераспространенное представление о генетической связи стихотворений «Обезьяна» В. Ф. Ходасевича (1919) и «С обезьяной» И. А. Бунина (1907). Как показывает обследование литературных и мемуарных источников, нищий балканец (чаще всего серб), просящий милостыню на дачах с обезьянкой и бубном (шарманкой) – фигура для первых десятилетий XX в. до такой степени привычная, что отсылка к бунинским стихам не была нужна ни Ходасевичу, ни его аудитории; за все совпадения между двумя текстами отвечает реальность, а не литература.

**Ключевые слова:** В. Ф. Ходасевич, «Обезьяна», реальный комментарий, сербы в России начала XX в., Первая мировая война в русской поэзии.

This article offers a critical revision of the ubiquitous assumption of a genetic link existing between the poems *The Monkey* (1919) by Vladislav Khodasevich and *With a Monkey* (1907) by Ivan Bunin. The close inspection of literary and biographical sources shows that a homeless Balkan (usually a Serb) with a monkey and a tambourine (or a street organ), begging his way through the summer houses, was a person so common to the turn-of-the-century Russia, that any reference to Bunin's poem was needless both for Khodasevich and his audience. If the two texts show any affinity, it was prompted by life, not literature.

**Key words:** Vladislav Khodasevich (Chodasevič, Xodasevič), The Monkey, realia, Serbs in Russia at the beginning of XX<sup>th</sup> century, Russian First World War poetry.

То же и в архиве нашей памяти. И в ней есть свои шкафы, ящики, коробки и коробочки. <...> Как в них найти те «бисеринки» эмоциональных воспоминаний, впервые мелькнувшие и навсегда исчезнувшие, как метеоры, на мгновение озаряющие и навсегда скрывающиеся? Когда они являются и вспыхивают в нас (как образ серба с обезьяной), будьте благодарны Аполлону, ниспославшему вам эти видения, но не мечтайте вернуть навсегда исчезнувшее чувство.

К. С. Станиславский, *«Работа актера над собой»*

Сопоставление стихотворений Ходасевича «Обезьяна» (1918–1919) и Бунина «С обезьяной» (1907) – излюбленный литературоведческий сюжет: то, что первое из них «непосредственно инициировано» (см. [12, с. 72]) вторым, сделалось едва ли не общим местом. Действительно, совпадений на удивление много (Э. Демадр аттестует их как «des similitudes frappantes» [63, р. 306], В. Е. Пугач выбирает тот же глагол: «количество заимствованных или переименованных деталей шокирует» [46]). Прочитируем последний из существующих перечней, для краткости дополнив его еще одним очевидным пунктом: «Балканец-музыкант с обезьянкой (хорват у Бунина, серб у Ходасевича); зной; <место действия – дачи;> обезьянка, пьющая воду; особенный взгляд животного, на который обращают внимание оба поэта» [62, с. 260]. Кажется невероятным, чтобы такая экзотически-прихотливая комбинация могла возникнуть в двух независимых случаях.

Дело, однако, осложняется двумя обстоятельствами. Впервые, Ходасевич в 1927 г. помнил напротив «Обезьяны» в т. н. берберовском экземпляре «Собрания стихов»: «Все так и было, в 1914, в Томилине» [59, т. 1, с. 396], – а шестью годами ранее сказал то же своей случайной порховской собеседнице, которую разыскал и расспросил в конце восьмидесятых М. В. Безродный [58, с. 112, прим. 29]<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Между прочим, судя по адресу в письмах поэта 1914 г., его встреча с обезьяной произошла ни больше ни меньше на ул. Достоевского – в подмосковном дачном Томилине улицы доньше принято называть именами писателей; удивительно, что там до сих пор нет улицы Ходасевича, и жаль, что нет двойного монумента, запечатлевшего рукопожатие.

Это «все так и было»<sup>1</sup> не раз служило филологам поводом, чтобы продемонстрировать лукавство писательских отсылок к реальности: кто же не знает, что стихи делаются из стихов! «И хотя Ходасевич уверял, что описал все, как было на даче в Томилино в 1914 году, – резюмируют Г. Г. Амелин и В. Я. Мордерер, – мы знаем цену истинным приключениям, происходящим с поэтами на даче. Один в Томилино встречает Обезьяну, другой на Акуловой горе близ ст. Пушкино – Солнце. Сугубую литературность происходящего разоблачает бунинское стихотворение «С обезьяной» <...>. Ходасевич лукавил, речь шла не о действительном событии, а о бунинском сюжете» [3, с. 231]. Другой пример: процитировав статью Ходасевича «О поэзии Бунина» (1929) – «Не разделяя принципов бунинской поэзии (напрасно стал бы я притворяться, что их разделяю: мое притворство было бы тотчас и наиболее наглядно опровергнуто хотя бы моими собственными писаниями)...», – И. Я. Померанцев мягко уличает ее автора: «Отчего же опровергнуто? Обезьяны не спрячешь» [43, с. 89].

Во-вторых, Омри Ронен, познакомившись в 1968 г. в Нью-Йорке с Н. Н. Берберовой, спросил ее о стихотворении Бунина: «оказалось, <...> что ни она, ни (по всей вероятности) он» его не знали [48, с. 55]. Это свидетельство, однако, при желании нетрудно отвести как wishful thinking: ведь к моменту написания «Обезьяны» Ходасевич и Берберова еще не были знакомы.

Поскольку родство двух стихотворений кажется установленным (в виду дальнейшего отметим, однако, отчетливый скепсис Ирины Антанасиевич<sup>2</sup> и М. В. Безродного<sup>3</sup>, а также рассчитанно-осторожные формулировки А. К. Жолковского

---

<sup>1</sup> По поводу стихотворения Бунина нечто подобное тоже было произнесено – В. П. Катаевым в «Траве забвенья» (1967): «Сколько раз до сих пор я видел (там же, в Одессе. – В. З.) обыкновенного уличного шарманщика, но только теперь, взглянув на него глазами Бунина, понял, что и шарманщик поэзия, и его обезьянка поэзия...» [25, с. 272].

<sup>2</sup> «Вряд ли есть основания говорить о интертекстуальном диалоге, поскольку сходство между двумя стихотворениями чисто внешнее» [4, с. 227].

<sup>3</sup> «Но пятистопный ямб, конечно, не раритет, и запечатленные ситуации тоже достаточно типичны, чтобы не заводить непременно разговор о влиянии» [6]; см. ниже с. 177, прим. 3.

и А. А. Макушинского<sup>1</sup>), интерпретаторы обсуждают перемену деталей. Почему Ходасевич превратил хорвата в серба? Потому что его стихотворение завершается строкой «В тот день была объявлена война», а значит, «Сараево <...> начинает просвечивать сквозь дачную идиллическую кулису, Гаврила Принцип снова стреляет в несчастного эрцгерцога, несчастную эрцгерцогиню» [32, с. 37]. Почему пририсовал бунинскому обезьянщику крест на груди? Потому что это «важный для русского «сербского текста» символ» [36, с. 305]. Почему дал ему бубен вместо шарманки? «То camouflage his obvious plagiarism» [65, p. 30–31]<sup>2</sup>.

Между тем возражений остается немало. Обилие и разительный характер параллелей вроде бы должны указывать на такое положение дел, когда Ходасевич не просто полусознательно использовал чужой мотив, но выстроил концептуальную аллюзию – побуждая своих читателей вспомнить обунинском прообразе и разглядывать «Обезьяну» сквозь его призму. Но что это дает младшему стихотворению? Предлагавшиеся ответы на этот вопрос представляются, правду сказать, натянутыми: так, по Г. Г. Амелину и В. Я. Мордерер, за обеими обезьянами скрывается Пушкин (в этом случае точным конспектом стихотворения Ходасевича окажется незабвенное «Душа моя играет, душа моя поет, / Мне братеник Пушкин руку подает»);<sup>3</sup> по В. Е. Пугачу, Ходасевич намеренно

<sup>1</sup> «В любом случае, эпизод сходен, а разработка глубоко различна» [20, с. 204]; «...даже если <...> где-то в памяти, или полубабении, это <...> стихотворение Бунина у него, когда он писал свои стихи, и присутствовало...» [32, с. 36]. Нам остается недоступной работа, частично посвященная сопоставлению названных стихотворений: см. [39].

<sup>2</sup> А. К. Жолковский в силу мельчайшей, но показательной аберрации даже наделяет серба из «Обезьяны» шарманкой – по образцу бунинского героя («шарманочный мотив, <...> восходящий к Бунину»); см. [21, с. 416].

<sup>3</sup> Отметим, что эта концепция была намечена-предсказана в эссе Майи Каганской «Седьмая повесть Белкина» (1987; соответствующий раздел написан от лица Ходасевича): «В чаду коптилок и подгоравших валенок никто не понял и «Обезьяны». А ведь я трижды вписал в текст его (пушкинский. – В. З.) образ! <...> Пушкин, а не на пятилетие запоздавший репортаж с начала войны, разъясняет появление в тексте худого черного серба, раскачивающего на плече обезьяну. <...> Да неужто не найдется среди них ни одного филоло-

противопоставляет банально-описательной обезьяне предшественника свою, экзистенциальную («Бунин не услышал, что хотела сообщить ему обезьяна. Пришлось ей дожидаться более понятливого Ходасевича»); по О. Н. Владимирову, наоборот, «Ходасевича привлек провиденциализм Бунина, катастрофичность его мировоззрения».

Кроме того, большинство комментаторов упускают из виду, что у Бунина есть еще одна обезьяна – и ведет ее уже не хорват с шарманкой, а, в точности как у Ходасевича, серб с бубном (рассказ «Чаша жизни», 1913):

Песчаная улица (провинциального Стрелецка, за которым угадывается Елец. – В. З.) была не избалована зрелищами. Однажды, когда появился на ней серб с бубном и обезьяной, несметное количество народа высыпало за калитки. У серба было сизое рябое лицо, синеватые белки диких глаз, серебряная серьга в ухе, пестрый платочек на тонкой шее, рваное пальто с чужого плеча и женские башмаки на худых ногах, те ужасные башмаки, что даже в Стрелецке валяются на пустырях. Стуча в бубен, он тоскливо-страстно пел то, что поют все они покои веку, – о родине. Он, думая о ней, далекой, знойной, рассказывал Стрелецку, что есть где-то серые каменные горы.

Синее море, белый пароход...

А спутница его, обезьяна, была довольно велика и страшна, старик и вместе с тем младенец, зверь с человеческими печальными глазами, глубоко запавшими под вогнутым лобиком, под высоко поднятыми облезлыми бровями. Только до половины прикрывала ее шерсть, густая, остистая, похожая на енотовую накидку. А ниже все было голо, и потому носила обезьяна ситцевые в розовых полосках подштанники, из которых смешно торчали маленькие черные ножки и тугой голый хвост. Она, тоже думая что-то свое, чуж-

---

га, который вспомнит, что щедушные свои пародии на Пушкина Полевой подписывал «Обезьянин»? что разозленный Пущин в письме к Матюшкину обозвал друга «обезьяной африканской»?» [24, с. 82].

дое Стрелецку, привычно скакала, подкидывала зад под песни, под удары в бубен, а сама все хватала с тротуара камешки, пристально, морщась, разглядывала их, быстро нюхала и отшвыривала прочь.

Впрочем, инерция движения из пункта Б. в пункт Х. оказывается настолько сильна, что исследователи, обращающие внимание на это место, все равно предпочитают говорить о двойном источнике Ходасевича, для чего-то перемешавшего в своем тигле бунинские стихи с его же прозой<sup>1</sup>. К сходным выводам приводят и спорадические находки других балканцев с обезьянами в русской литературе: и О. Ронен, обнаруживший их в очерке Белого «Сфинкс»<sup>2</sup>, и М. В. Безродный, указавший на стихотворение того же Белого «Из окна»<sup>3</sup>, также склонны трактовать эти параллели как литературные.

Отсюда дальнейшее.

Если для А. Ф. Кони, вспоминающего о петербургских балаганах 1850-х – 1860-х гг., уличные развлечения еще представлены «главным образом итальянцами-шарманщиками или савоярами с обезьянкой и маленьким органчиком» [26, с. 62]<sup>4</sup>, то после турецкой войны 1877–1878 гг. уроженцы

<sup>1</sup> «Скорее всего, на поэте сказались впечатления от бунинского произведения – или произведений, имея в виду и рассказ, и стихотворение...» (чуть ниже, однако, тот же автор будет говорить – на наш взгляд, совершенно оправданно – о «типичной, судя по всему, фигуре серба с бубном и маленькой обезьянкой») [50, с. 41]; «Последний стих «В тот день была объявлена война» отсылает <...> к Стрелецку – месту действия в «Чаше жизни»» [12, с. 73]; «Текст Ходасевича явно отсылает не только к бунинскому поэтическому претексту, <...> но и к рассказу писателя «Чаша жизни»» [36, с. 305].

<sup>2</sup> «Вряд ли без этого отрывка из Белого возможно понять противоречивый смысл стихотворения Ходасевича» [49, с. 27–29].

<sup>3</sup> «Не приходится сомневаться, что Ходасевич читал, и внимательно читал, «Золото в лазури»» [6]. Эта запись в блоге М. В. Безродного от 3 февраля 2009 г. (ср. также продолжение [7]) и дискуссия, развернувшаяся в комментариях к ней, послужили толчком для написания настоящей статьи.

<sup>4</sup> Ср. в рассказе Бунина «Тишина» (1901): «А вон Савоя – родина тех самых мальчиков-савояров с обезьянками, о которых читал в детстве такие трогательные истории!». Д. В. Григорович, выделяя

Апеннин и Альп, будь то настоящие или маскарадные, навсегда уступают роль водителей обезьян по русским дворам и дачам угнетенным балканским единоверцам. Хронологически первое из отыскавшихся упоминаний – в фельетоне Чехова «К характеристике народов» (1884–1885): «Греки <...> продают губки, золотых рыбок, сантуринское вино и греческое мыло, не имеющие же торговых прав водят обезьян или занимаются преподаванием древних языков»<sup>1</sup>. Вскоре их число умножается; и если бунинский хорват в этом качестве, кажется, уникален (как можно предположить, это характерный для Бунина демонстративный реализм – отказ от ожидаемого штампа в пользу точного всматривания), то греки<sup>2</sup>, цыгане<sup>3</sup>, а особенно болгары и сербы с обезьянами называются совре-

---

в классическом очерке «Петербургские шарманщики» (1844) три национальных типа – итальянцы, немцы и русские, – называет ученых обезьян «исключительной принадлежностью» первых [17, с. 58]. О савоярах-обезьянщиках см. [54].

<sup>1</sup> К тому же времени относятся мемуары всеьегонского агронома П. А. Сиверцева («Летом бывали и румыно-сербы с шарманкою, а однажды зимою были [1885], играли на катке»; см. [15, с. 149]) и анекдотический рассказ из записок И. А. Белоусова (1927) о «случае, бывшем в 80-х годах» – несколько купцов, проезжая в Благовещенье мимо птичьего рынка на Трубной площади, захотели исполнить обычай, но, так как рынок был еще пуст из-за раннего часа, купили у подвернувшегося «мальчика-болгарина» обезьянку и выпустили ее [8, с. 80].

<sup>2</sup> Ср., например, в рассказе для детей С. Т. Григорьева «Сомбреро» (1924): «Окруженный босоногими мальчишками и девчонками, печальный грек, уныло припевая, дергал за цепочку обезьянку в красной юбке. Обезьянка кувыркалась, помаргивая скорбными человечьими глазами» [18, с. 40].

<sup>3</sup> Ср., например: «Каждый стоял перед ним, держа за руку куклу, как цыган держит свою обезьянку в синей юбке» (Ю. К. Олеша, «Три толстяка», 1924; гл. 7). С цыганами связан отдельный и пока не до конца ясный для нас лингвистический сюжет: существуют контексты, в которых слова «цыган» и «серб» явно синонимичны. Ср. присказку «Подайте цыганке-молдаванке, православной сербиянке» или пассаж из мемуаров П. И. Якира (время действия куда более позднее – 1937 г., но нас сейчас интересует лексика): «Я возвратился в парк. Там ко мне пристали сербиянки – погадать; в присутствии моих друзей гадалка сказала: «Родителя своего ты больше никогда не увидишь ...»» [5, с. 175].

менниками десятки раз<sup>1</sup>. Вообще видно, что выбор той или иной народности, особенно в «проходных» контекстах, едва ли не случаен, и неизменна лишь ассоциация с Балканами<sup>2</sup>. Так, нередко упоминание двух или трех возможных национальностей обезьянщика через запятую: «И голос болгара или серба / Гортанный протяжно рыдает... / И слышится: «Шум на Марица...» / Сбежались. А сверху девица / С деньгою бумажку бросает. / Утешены очень ребята / Прыжками цепной обезьянки...» (Андрей Белый, «Из окна», 1903)<sup>3</sup>; «Когда-то, много лет назад, в подмосковной дачной местности ходил не то перс, не то болгарин, не то черномазый орловец под болгарина, с несчастной, дрожащей обезьянкой в руках. Обезьянка кувыркалась и прыгала, а «перс» подергивал ее за веревочку и гнусным голосом подпевал...» [23, с. 24]; «Приходил цыган, иногда смуглый серб с обезьянкой, крутил ручку хриплой, как от простуды, шарманки...» [29, с. 9] (написано в 1939–1945 гг., время действия – первые годы XX в.); «румыно-сербы с шарманкою» (П. А. Сиверцев, см. выше с. 178, примеч. 1). Показателен пассаж из авантюрно-шпионского романа Н. Н. Брешко-Брешковского (1916), описывающий шовинистические предрассудки героя: «Болгары, черногорцы, сербы и даже румыны и греки были в его представлении каким-то человеческим «винегретом», грязным и диким, с тою лишь разницею, что одни – гешефтмахеры, плуты, другие – играют на скрипках в белых фантастических костюмах, третьи – водят ученых обезьян, а четвертые – режут в своих горах албанцев и турок» [11, с. 83].

<sup>1</sup> Единичные указания на обезьянщиков иных национальностей – например, айсоров у Шкловского [60, с. 281] – оставляем без внимания.

<sup>2</sup> Полушутливая попытка Аркадия Аверченко навести в этом вопросе порядок («До русской революции <...> мадьяры ходили по дворам, продавая мышеловки, итальянцы продавали коралловые ожерелья и брошки из лавы, болгары специально демонстрировали по улицам дрессированную обезьяну, а грек исключительно торговал губками. Каждая национальность имела свою профессию, и никакой путаницы не было. Если бы вы каким-нибудь чудом увидели грека с обезьяной, то – одно из двух: или грек был не настоящий, или обезьяна поддельная» [1, с. 126]) опровергается многочисленными контрпримерами, начиная с уже приведенного чеховского.

<sup>3</sup> В качестве параллели к «Обезьяне» Ходасевича отмечено М. В. Безродным (см. выше с. 177, прим. 3).

Фатальный характер отождествления «человек с обезьяной = балканец» иллюстрирует газетная заметка времен шпиономании, охватившей русскую провинцию в первое лето войны с Японией:

На днях, как нам передавали, на станции Везенберг железнодорожный жандарм встретил бродячего шарманщика и его сотоварища с ручной обезьянкой, одетых в болгарские костюмы. Жандарму субъекты показались подозрительными, и он пригласил их в станционную контору, где те предъявили паспорта на имя болгарских подданных; тем не менее у них был произведен обыск, причем внутри шарманки найдены план местности и дорог между Нарвой и Везенбергом, разные инструменты для съемки планов, шагомер и т. п. Видя, что обман их обнаружен, мнимые болгары сознались, что они – переодетые японцы, причем шарманщик назвал себя полковником генерального штаба, а товарища – своим денщиком. Арестованные, как мы слышали, отправлены в Петербург [37, с. 2]<sup>4</sup>.

Более того, в некоторых контекстах слова *серб* и *болгарин*, примененные к обезьянщику походя, без каких-либо описаний, выглядят уже прямо обозначением профессии, а не национальности (как *татарин* в смысле «старьевщик»; много ранее то же произошло с *савояром*). Таков, например, рассказ Тэффи «Точки зрения» (1934), где персонаж прогуливает по Парижу опостылевшую любовницу: «А ведь не зайди за ней в воскресенье, таких истерик наделает, что за неделю не расхлебаешь. <...> Ну вот и води ее, как серб обезьяну». Ср.: «– Возможно, – согласился Подходцев, – как болгарина с обезьяной пускают во двор ради обезьяны» (А. Т. Аверченко, «Подходцев и двое других», 1917)<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Три номера спустя, когда новость уже перепечатали в столицах, «Нарвский листок» предсказуемо сообщил, «что случая задержания на станции Везенберг <...> двух шарманщиков, которые оказались японцами, с какими-то планами, никогда не было» (№ 49. 23 июня. С. 2).

<sup>5</sup> Этот последний пассаж отмечен И. Антанасиевич [4, с. 229].

Репертуар бродячих обезьянок был по большей части каноничен и, как правило, ограничивался хрестоматийной триадой «баба с коромыслом – пьяный мужик – барыня» (то же представляли и ученые медведи)<sup>1</sup>. Так, героиня романа К. А. Федина «Первые радости» (1945; время и место действия – Саратов, 1910 г.) рассказывает: «– Помнишь, на второй день пасхи, когда к нам пришел болгарин с обезьянкой и с органчиком и привел за собой целую толпу зевак, помнишь? <...> Я стояла в окне и смотрела на представление. Могу тебе рассказать, что делала обезьянка, все по порядку. Сначала она показывала, как барыня под зонтиком гуляет, потом – как баба за водой ходит, потом – как пьяный мужик под забором валяется...» [56, с. 161]. Ср. также: «С наступлением тепла появлялись на окраинах болгары с обезьянами. Они и летом были в полушубках и высоких бараньих шапках. Каждый носил маленькую шарманку, иногда только бубен, и тащил за собой чахлую обезьянку. Обезьянка под звуки шарманки или бубна давала представления. «А ну покажи, как баба воду носит». На плечики обезьянки укладывалась палочка, та обхватывала ее лапками и ходила по кругу, как будто несла коромысло с ведрами. «А теперь покажи, как пьяный мужик валяется». Обезьянка идет пошатываясь, потом валится набок и делает вид, что засыпает» [22, с. 125]<sup>2</sup>; контаминация: «И теперь еще у прохожих болгар обезьяна подражает пьяной бабе и ходит за водой. И никто не видит ужаса. <...> Довольно мы учили зверей быть людьми, так что и перестали разбирать, где звери, где люди. <...> А что если в этом приближении к нам зверя сказалось не пленение его нами, а тайное наше пленение им?» [9, с. 28–29]<sup>3</sup>. Встречаются, впро-

<sup>1</sup> О медведях см., например: [38, с. 497]. Объяснение этому сходству находим в труде современного этнографа крымских цыган: «После определенной выучки медведей цыгане выступали с ними как бродячие артисты. Иногда у заезжих торговцев крымкам удавалось купить или выменять обезьянку и, выдрессировав ее, также начать выступления на публике. Диковинная для многих крымчан, но уже дрессированная обезьянка цыганами воспринималась как привычная медведица и называлась тем же цыганским словом *ричхини*» [55, с. 25].

<sup>2</sup> Отмечено В. Г. Беспрозванным в записи от 6 июня 2006 г. [10].

<sup>3</sup> Отмечено О. Роненом как «важнейший подтекст» стихотворения Ходасевича (см. выше с. 177, прим. 2).

чем, и патриотические интерпретации тех же нехитрых движений: «– Покажи, как дамой важной / Можешь ты ходить, / Как ружьем солдат отважный / Будет турку бить...» [14, с. 52]<sup>1</sup>.

Именоваться таких обезьянок (как и ученых медведиц) принято было Марь Иваннами («Как сморщенный зверек в буддийском храме / Почешется – и в цинковую ванну. / – Изобрази еще нам, Марь Иванна» (О. Э. Мандельштам, «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...», 1931)<sup>2</sup>; «Марьей Ивановной называлась обезьяна, самка, из породы павианов. <...> Подарили мне ее мои друзья...» (А. И. Куприн, «Марья Ивановна», 1913)<sup>3</sup>; «Иногда к нам заходил Петрушка или цыган с <...> обезьянкой Марьей Ивановной» [2, с. 295] (время действия – 1908–1914 гг.); ср. у Н. В. Гиляровской: «– Ну пляши, пляши, Марьяна, / Ну, кружись живой. / Пляшет, пляшет обезьяна. / Дождик все сильней»), а самцов – Макарами Ивановичами («Имя было дано Макару Ивановичу (игрушке. – В. З.) по имени тех обезьянок, с которыми в годы нашего детства ходили по дворам черномазые люди. Этих мартышек почему-то часто звали так») [13, с. 49]. Музыкальная составляющая действия также не балует разнообразием: патриотическая песня «Шумит Марица...», первый гимн освобожденной Болгарии, равно упоминается в стихотворении Белого «Из окна» и в позднейшем (1962) мемуарном фрагменте знакомого Ходасевича В. Г. Лидина («Во двор нашего дома <...> приходил серб с шарманкой через плечо и печальной обезьянкой, в красных шароварах и цветной распашонке из ситца. <...> Серб, грустный, с беловатыми оспинами на смуглом лице, крутил ручку шарманки, уныло тянувшей «Шум на Марице...», а обезьянка с близко поставленными, серьезными глазами, словно знающая заранее свою судьбу,

---

<sup>1</sup> Указано пользователем ggordeeva в комментариях к уже упоминавшейся записи в блоге М. В. Безродного [6]. Другим средством напомнить публике о турецком иге служили карикатурные шаровары и фески, в которые балканцы рядили своих обезьянок (см. [47, с. 168]).

<sup>2</sup> Н. Я. Мандельштам поясняла, что Марь Иванна здесь – ходовая кличка дрессированной обезьянки [34, с. 603]. Пассаж отмечен Г. Г. Амелиным и В. Я. Мордерер [3, с. 235 и след.].

<sup>3</sup> Приводимые параллели позволяют, как кажется, уточнить воспоминания дочери Куприна, писавшей об этой обезьянке: «Он назвал ее так, чтобы досадить какой-то неприятной ему даме, которая, рассердившись, перестала посещать наш дом, и таким образом цель была достигнута» [28, с. 60].

сидела на шарманке, ее тонкие ручки с пепельными ладонями высывались из полурукавов распашонки) [30, с. 198]<sup>1</sup>. Незамысловатая песенка обезьянщика с бубном запечатлена в повести Вен. Корчемного «Лунная соната» («Обезьянка прыгала в пыли и вытворяла какие-то в высшей степени неопределенные гримасы, а цыганенок бил рукой в бубны и гнусаво выводил: «Покажи, как стара баба / Ходит на базар. / Ах ты, бэреза, / Русска молодец!») [27, с. 65], и она же различима в мрачном стихотворении поэта Голубчика-Гостова (биографических сведений нет), на которое указал А. Л. Соболев в блоге М. В. Безродного [7]:

Мартышка, мартышкá.  
Го-го.  
Молдаванин с обезьяной.  
Го-го.  
Девки, парни, мальчуганы.  
Го-го.  
Покажи, как ходит пьяный.  
Го-го.  
Мартышка, мартышкá.  
Го-го.  
Ходит пьяный, как умора.  
Го-го.  
Ходит медленно, не скоро.  
Го-го.  
Спать ложится под забором.  
Го-го.  
Мартышка, мартышкá.  
Го-го.  
В красной шапочке татарской.  
Го-го.  
Вверх по палке без опаски.  
Го-го.  
Вниз по палке; просьбы, ласки.  
Го-го.  
Мартышка, мартышкá.  
Го-го.

<sup>1</sup> Лидин, впрочем, скорее всего помнил о стихотворении Белого: на это указывает одинаково искаженная первая строка болгарской песни в обоих текстах.

Бубен такт ей отбивает.  
Го-го.  
Пенье бубен дополняет.  
Го-го.  
Сиплый голос умоляет:  
Го-го.  
Мартышка, мартышка.  
Го-го.  
Покажи, как мужик ходит.  
Го-го.  
Покажи, как пьяный ходит.  
Го-го.  
Мартышка, мартышка.  
Го-го.  
Покажи, как баба косит.  
Го-го.  
Покажи, как ведра носит.  
Го-го.  
Мартышка, мартышка.  
Го-го.  
Девки семячки щелкают.  
Го-го.  
В парней шелухой бросают.  
Го-го.  
Мартышка, мартышка.  
Го-го [16, с. 26–27].

Как видно из последних примеров (ср. также «Чашу жизни» Бунина, мемуарные очерки Д. А. Засосова – В. И. Пызина и др.), бубен в руках обезьянщика не менее привычен, чем шарманка. Даже полуголая грудь персонажа Ходасевича оказывается типичной деталью: «...он, <...> протянув руку и сделал плачущее лицо, закивал головой, склоненной набок, как это делают черномазые грязные восточные мальчишки, которые шляются по всей России в длинных старых солдатских шинелях, с обнаженной, бронзового цвета грудью, держа за пазухой кашляющую, облезлую обезьянку <...> – Сербиян, барина-а-а, – жалобно простонал в нос актер. – Подари что-нибудь, барина-а-а» (А. И. Куприн, «Яма», 1915; ч. I, гл. 11)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> К сожалению, мы не смогли отыскать репродукции картины украинского художника Т. А. Сафонова «Болгарин с обезьяной» (1912).

В воспоминаниях учителя-словесника В. В. Литвинова (место и время действия – Минск 1900-х гг.) обезьянке, приведенной мальчиком-болгарином, также выносят попить, и она также опрокидывает чашку [31, с. 52–54]; наконец, отмечавшийся комментаторами сюжетный микропараллелизм у Бунина и Ходасевича – в обоих случаях обезьянщик первым делом поит свою питомицу, хотя сам изнывает от жажды [63, р. 307], [12, с. 72], – получает разъяснение в «Петербургских саворях» В. В. Толбина: «Как в завтраке, так в уличном обеде обезьяна бывает всегда сытее своего хозяина, потому что саворя более заботится о ней, чем о себе, как будто бы не она, а он служит ей. Обезьянщик <...> лелеет и бережет свою обезьяну» [54, с. 46].

Другое на первый взгляд значимое совпадение между двумя стихотворениями – место и тесно связанное с ним время действия (дача и, стало быть, лето, влекущее за собой жару и жажду) – тоже на поверку оказывается типическим: «скука загородных дач» – вторая по популярности декорация для выступлений шарманщиков / обезьянщиков после дворов-колодцев. О тяге петербургских шарманщиков к дачам, «где, как известно, люди как-то добрее, самые солидные отцы семейства наклоннее к невинным буколическим удовольствиям, приехавшие гулять особенно расположены тратить деньги, а главное – много детей», писал уже Григорович [17, с. 54]; хрестоматийное стихотворение А. Н. Плещеева о старом шарманщике (очевидно, итальянце) озаглавлено «На даче» (1873). Применительно к началу XX столетия кое-что уже приводилось выше (см. [22, с. 125]; [23, с. 24]; [37, с. 2] и др.); ср. еще: «Средь аляповатых дач, / Где шатается шарманка...» (О. Э. Мандельштам, «Теннис», 1913), «И опять визги, лязги шарманки, шарманки...» (С. М. Городецкий, «Шарманка» из цикла «Дача», 1907), «За заставой воеет шарманка...» (А. А. Ахматова, материалы «Поэмы без героя», 1961). Главу «Первое стихотворение» из обеих английских версий мемуаров Набокова – где есть и балканец, и обезьяна, и шарманка, и загородная усадьба, и лето 1914 г. – приходится обойти из-за (неоднократно высказывавшихся) подозрений в аллюзии на Ходасевича [3, с. 219 и след.], [21, с. 412 и след.], [33, с. 42]<sup>1</sup>; однако удивительное стихотворение Зинаиды Гиппиус «Три

<sup>1</sup> Ко времени создания «Conclusive Evidence» Набоков уже опубликовал перевод «Обезьяны» Ходасевича на английский.

сына – три сердца» в этом не заподозришь. Написанное в Петербурге в июле 1918 г. («Обезьяна» начата в Москве в июне), а опубликованное только шесть лет спустя, оно посвящено З. В. Ратьковой-Рожновой, все три сына которой погибли на войне или от рук большевиков. В длинной балладе Гиппиус ангел, принявший облик уличного музыканта, является к счастливой матери трех сыновей *в июле 1914 года на дачу, озаренную отсветами лесных пожаров*, чтобы с помощью мелодии шарманки, *чей пророческий смысл внятен одной лишь героине, подать знак о грядущей катастрофе* – курсивом мы выделили обстоятельства и мотивы, общие с «Обезьяной». Национальность шарманщика не названа, но стилизация под «Песни западных славян» недвусмысленно указывает на балканский след:

Когда были зори июльские багровые,  
ангел, в одежде шарманщика, пришел к ней  
на дачу, где, счастливая, она жила.

Только и было всего, что зори багровые.  
Спросил ее шарманщик: одно ли у тебя сердце?  
Она подумала и сказала: три.

Заплакал шарманщик, шарманку завертел свою,  
другие слушали и ничего не понимали,  
но выговаривала шарманка ясно для нее:

«Посмотри, посмотри на зори багровые,  
вынуты у тебя будут все три сердца,  
три раны, три раны останутся вместо них...».

Сходство «Обезьяны» с этими стихами, на наш взгляд, куда более значительно и интересно, чем с бунинскими; впрочем, о месте стихотворения Ходасевича в богатой традиции «предчувствий мировой войны» следовало бы говорить отдельно. 19 июля наступило отнюдь не так внезапно, как потом 22 июня: война висела в воздухе, поэты на дачах успели уловить немало предвестий катастрофы<sup>1</sup>, а дежурно-

<sup>1</sup> См.: [64, р. 27–31]. Ср. характерный эпизод, рассказанный впоследствии Пастернаком скульптору Зое Маслениковой: июль 1914 г. поэт проводил в Петровском на Оке, где жил в писательской компании как домашний учитель сына Балтрушайтисов, и в ночь на 18-е они с подопечным завывали и мяукали в кустах перед домом Вячеслава

апокалиптические лесные пожары<sup>1</sup> тому поспособствовали. В результате даже отдельные места «Обезьяны» можно комментировать цитатами из писем и дневников современников; к примеру, строки «...Нудно / Тянулось время. На соседней даче / Кричал петух. Я за калитку вышел...» обогащаются обертонами при сопоставлении с письмом Пастернака родителям (конец июля 1914 г., воспоминание о последних предвоенных днях): «День как в паутине. Время не движется. <...>. В последний день, <...> 19-го, когда действительность еще существовала и *выходили еще из дому, чтобы вернуться затем домой...*» [40, с. 84].

Mais revenons à nos guenons. В русской словесности начала XX в. образ «человека с обезьяной» не просто мелькает там

Иванова. Наутро искушенный в предвестиях символист вышел на крыльцо со словами «Всю ночь филин ухал и сова кричала – быть войне!» [41, с. 221], а сразу по возвращении опубликовал в «Русской мысли» цикл «На Оке перед войной», три части которого помечены 12, 16 и 18 июля – своего рода каталог знамений (тот самый, кстати, в первой журнальной редакции которого была запомнившаяся Ходасевичу и упомянутая им в «Некрополе» рифма «смерть – умилосердь»).

<sup>1</sup> Хотя пожары последних предвоенных недель, сыгравшие столь важную роль в русском Augusterlebnis (из бесчисленных свидетельств выберем запись М. М. Пришвина, сделанную 27 июля в Ельце: «Все это признаки конца: встреча со старообрядцем, разговор о лесных пожарах, и затмении, и забастовке – все это признаки конца, как у летописцев. Признаки войны: лесные пожары, великая сушь, забастовки, аэропланы, девиц перестали замуж выдавать, Распутину (легенда в Петербурге) член отрезали, красная тучка, гроза» [45, с. 83]), и впрямь оказались исключительно сильными – только казенного леса выгорело 428 тыс. десятин, – нельзя не заметить, что опыт эсхатологического осмысления этого традиционно для средней полосы бедствия уже был к этому времени накоплен. Ср., например: «Это были <...> дни лесных пожаров, наполнявших чадом окрестность. Дни, когда решались судьбы мира и России...» (Андрей Белый, «Вторая симфония», о 1901 г.); «Уже был ошутим запах гари, железа и крови. <...> Летом этого года, исключительно жарким, так что трава горела на корню, в Лондоне происходили грандиозные забастовки железнодорожных рабочих, в Средиземном море разыгрался знаменательный эпизод «Пантера – Агадир»...» (Блок, предисловие к «Возмездию», о 1911 г.). Впоследствии мифологема «пожаров-знамений» была применена и к 1917, и к 1921 гг.

и сям как бытовая примета: примеры его поэтизации (и до, и помимо Ходасевича) частично уже приводились выше. Главных направлений этой поэтизации можно насчитать три. Первое – патриотико-ностальгическое (ср. финал стихотворения Бунина: «Ты далеко, Загреб!»)<sup>1</sup>. Второе – трогательное: таково, например, место из «Работы актера над собой» К. С. Станиславского, где подставной рассказчик, припомнив хлопоты серба над мертвой обезьянкой – насколько этот эпизод автобиографичен, должны рассказать специалисты<sup>2</sup>, – постигает механику актерского переживания: «Вспоминая распростертого на земле нищего и наклонившегося над ним неизвестного человека, я думаю не о катастрофе на Арбате, а о другом случае: как-то давно я наткнулся на серба, склоненного над издыхавшей на тротуаре обезьяной. Бедняга, с глазами, полными слез, тыкал зверю в рот грязный огрызок мармелада. Эта сцена, по-видимому, тронула меня больше, чем смерть нищего. Она глубже врезалась в мою память. Вот почему теперь мертвая обезьяна, а не нищий, серб, а не неизвестный человек, вспоминаются мне, когда я думаю об уличной катастрофе. То же и в архиве нашей памяти... (продолженные цитаты см. в эпиграфе)» [52, с. 223]. Уже в эмиграции Дон-Аминадо подытожил этот мотив: «Ноет шарманка. Рапсодия Листа. / Серб. Обезьянка в пальто. / Я вспоминаю Оливера Твиста, / Диккенса, мало ли что...» («Март месяц», 1926).

Сочиняя сентиментальные рассказы о безответных обезьянщиках и их беззащитных питомцах, русские беллетристы (отталкиваясь, скорее всего, от европейских моделей; здесь первым приходит на ум роман Гектора Мало «Без семьи» [1878, рус. пер. 1886]) изобретают подчас замысловатейшие

---

<sup>1</sup> *Улыбающийся серб-шарманщик за пределами стихов для детей* встретился нам лишь однажды, у П. А. Антокольского: «И дети шли с хлыстами верб / По солнечным бульварам, / С шарманкой шел веселый серб / И с попугаем старым» («Весна от Воробьевых гор...», 1918, 1975); обыкновенно они печальны.

<sup>2</sup> Между прочим, в повести многолетней сотрудницы и единомышленницы Станиславского Л. Я. Гуревич «К солнцу» среди путано-тревожных сцен, являющихся героине в полусне, есть и такая: «Потом представился маленький, не говорящий по-русски итальянец с растерянными глазами, с мертвой обезьянкой на руках. Откуда это? Кто-то из знакомых, кажется, видел и рассказывал» [19, с. 183].

коллизии. Так, в рассказе Н. Д. Телешова «Случай»<sup>1</sup> мастера-вые спасают замерзающего чужестранца (судя по тому, что к нему обращаются «мусью», это припозднившийся савояр), а затем, потрясенные его песней о родине и исполнившись жалости к обезьянке, грабят винную лавку, чтобы отправить его домой. В «Шарманщике» С. А. Поспелова [44] еврей из западно-украинского местечка, уступая напору коварного проходимца («Рубиса считали греком, но точного происхождения его никто не знал; одни говорили, что он цыган, другие – молдаванин»), покупает его шарманку и обезьянку, после чего решает переменить судьбу и вместе с семьей и пожитками уезжает играть на ярмарке; в конце концов толпа пьяных погромщиков линчует зверька («Проклятая жидова наняла себе на службу дьявола») и жестоко избивает его хозяина<sup>2</sup>. Симптоматично, что в обоих рассказах упомянуты – в качестве значимых «сострадательных» деталей – взгляд обезьянки и прикосновение ее лапки (у Телешова: «человеческая рука, темная и сморщенная, высунулась из-за пазухи незнакомца и скребнула ногтями по чужому кулаку», «окидывала компанию печальным человеческим взглядом»; у Поспелова: «глаза ее выражали грусть и растерянность», «бедный пес получил удар <...> маленькой холодной обезьяньей лапкой»); вообще, оба эти элемента встречаются в соответствующих контекстах многократно – и порознь, и в комбинации, как у цитировавшегося выше В. Г. Лидина или у Шолом-Алейхема («Иногда давал представление цыган с обезьяной. <...> Оба смотрят одинаково жалобными глазами, протягивая за подаянием волосатые грязные, худые руки») [61, с. 460]<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Указавший нам на этот текст М. В. Безродный отметил, что его первую публикацию [53] рецензировал Ходасевич; в его ироническом отзыве телешовский рассказ назван среди «написанных в обычном стиле «Знания»» [59, т. 2, с. 29].

<sup>2</sup> Так же гибнет обезьяна и в бунинской «Чаше жизни». Любопытный рецидив сюжета находим в детской повести советского писателя: обезьянку забредшего на рабочую окраину Петрограда шарманщика-грека убивает черносотенец, в мистическом экстазе приняв ее за врага рода человеческого [51, с. 82–84] (время действия – 1916–1917 гг.).

<sup>3</sup> В этой связи совершенно превратной представляется оценка Г. Г. Амелина и В. Я. Мордерер: «И вообще обезьяна, глядящая с тоской и печальной мудростью, – какой-то страшный подвох, нонсенс, потому что она, обезьяна, – синоним глупой беспечно-

Наконец, третье направление – мистическое: балканец предстает загадочным пришельцем из дальних стран, а обезьяна – мудрым и древним чудищем («Чаша жизни», «Сфинкс» Белого и др.). Комбинацию первого и второго мотивов ср., например, у Лидина («Мы, дети, думали, наверно, о Марице, о Сербии, где, видимо, бедно и голодно живет, думали и о тропических странах, откуда привезли в холодную Россию умирать обезьянку...»), комбинацию второго и третьего – в стихотворении Н. Л. Манухиной, жены Георгия Шенгели, «Обезьянка» (1922; Манухина наверняка читала Ходасевича, но сюжетная ситуация ее стихов совсем на него не похожа): «Захлебнулась шарманка «Разлукой» / По дворам и в пролеты лет. / Закрутил ее серб однорукий, / Смуглолицый сутуля скелет. / На плечо я к нему броском, / Зябко ежиться от озноба, / А в груди распирает ком – / Человечья скучливая злоба. / Хляснет окрик – и спрыгну плясать / И умильные корчить рожи, / Полустертые цепко хватать / Медяки, что на дни похожи. / В апельсин золотой вцепясь, / Поднесла невзначай ко рту, / Да косится хозяин, озлясь, / Сочный плод с размаху – в картуз, / А потом, слюну проглотив, / Замигаю, закрою веки, / И опять неотвязный мотив, / И опять на плечо калеки... / Так идем от двора к двору, / Я забыла – что явь? что бред? / Но боюсь одного: умру – / Серб немедля пойдет вослед» [35, с. 7–8]<sup>1</sup>.

Итак, нищий серб, просящий милостыню на летних дачах с обезьянкой и бубном (шарманкой) – фигура для 1914 г. до такой степени привычная, что отсылка к бунинским стихам, судя по всему, вовсе не была нужна ни Ходасевичу (которому они одинаково не годились как для почтительного «развития», так и для полемического «ответа»), ни его аудитории; все совпадения между двумя текстами лежат на совести реальности, а не литературы. И еще один побочный вывод: встреча на томилинской улице не несет в себе ничего странного или экзотического, как это неминуемо представляется современному читателю. Выйдя за калитку, лирический герой застал

---

сти и игры. <...> Оба поэта (Бунин и Ходасевич. – В. З.) ломают этот культурный стереотип, давая образ в совершенно ином разрезе. И в первую очередь – благодаря Пушкину» [3, с. 232].

<sup>1</sup> Связь этих стихов с «Обезьянами» Ходасевича и Бунина отмечена публикатором в послесловии [35, с. 69], [42].

вполне рутинную, ожидаемую и много раз виденную сцену<sup>1</sup>; чудеса начинаются дальше, с Дария и рукопожатия. Это соответствует и общему замыслу цикла «визионерских» белых стихов из книги «Путем зерна», в который входит «Обезьяна» – в каждом из них мистический прорыв вызван обыденным, предельно неброским внешним впечатлением.

*PS:* В самом конце третьего тома («Гражданская война») книги Софьи Федорченко «Народ на войне» есть запись такого чувствительного солдатского рассказа:

Сидит у телеграфного столба, дерюжкой с головой накрытый. Окликнули – молчит. А под дерюжкой как бы птица бьется. Что такое? Тихонечко прикладом подтолкнули – упал человек, дерюжка свалилась. Сербиянин мертвый, лицо темное, как мощи, сухой, уж остылый. И, шею его хилую обхвативши, приникла к нему обезьянка, ростом с крысу, не больше. Приникла и на нас старым таким глазом смотрит, как бы в испуге, как бы плачет-тоскует. Стали ее брать – бьется, кусается! Это что за беда, да боязно ее, такую, к человеку приверженную, зашибить или примять. Ну, кой-как сделались все же, унесли с собой. И любили мы ее, и не жили, и ума в ней была палата. Но тосковала, кашлять стала зло и померла. Чуть не со слезами зарыли мы ее – до того она нам сердце грела [57, с. 437].

Вопрос о подлинности записей Федорченко темен: поначалу писательница уверяла, будто дословно стенографировала разговоры солдат, затем на волне успеха книги призналась, что сочинила их сама, хоть и «по мотивам услышанного», а после погромной статьи Демьяна Бедного «Мистификаторы и фальсификаторы – не литераторы» исподволь вернулась к прежней версии. Но кто бы ни придумал героям Ходасевича такую смерть – сама Федорченко или мелкий демон интертекстуальности, – для финала она, кажется, сгодится<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ср. счастливую формулировку Т. В. Саськовой [50, с. 43]: «явления будничной экзотики».

<sup>2</sup> При написании этой статьи активно использовался Национальный корпус русского языка, а также многообразные возможности интернет-поиска.

**Список литературы и источников**

1. Аверченко А. Т. Константинопольские греки (1923) // Собр. соч.: В 6 т. / Сост., подгот. текста, комм. ст. Никоненко. М., 2000. Т. 6. С. 126–128.
2. Алексеев А. А. Забвение или сожаление: Воспоминания петербургского кадета [ч. 1] / Публ. В. Г. Непевого // Киноведческие записки. 2001. № 55. С. 271–294.
3. Амелин Г. Г., Мордерер В. Я. «Пушкин-обезьяна» // Амелин Г. Г., Мордерер В. Я. Миры и столкновения Осипа Манделъштама. М., 2000. С. 219–246.
4. Антанасиевич И. О одном мотиве в русской литературе начала XX века, или Обезьяньи гримасы интертекстуального анализа // Славистика. 2003. Т. 7. С. 225–239.
5. Антология самиздата: Неподцензурная литература в СССР: 1950-е – 1980-е / Под общ. ред. В. В. Игрунова. М., 2005. Т. 2.
6. Безродный М. В. [Запись в сообществе «Живой Журнал»]. См.: <http://m-bezrodnyj.livejournal.com/273749.html> (дата обращения: 27.05.2015).
7. Безродный М. В. [Запись в сообществе «Живой Журнал»]. См.: <http://m-bezrodnyj.livejournal.com/274546.html> (дата обращения: 27.05.2015).
8. Белоусов И. А. Ушедшая Москва: Воспоминания. М., 2002.
9. Белый А. Сфинкс // Весы. 1905. № 9/10. С. 23–49.
10. Беспрозванный В. Г. [Запись в сообществе «Живой Журнал»]. См.: <http://vadbes.livejournal.com/2081.html> (дата обращения: 27.05.2015)
11. Брешко-Брешковский Н. Н. Ремесло сатаны. М., 1995.
12. Владимиров О. Н. В. Ходасевич – И. Бунин: Несколько параллелей // Проблемы литературных жанров: Материалы X Международной научной конференции, посвященной 400-летию г. Томска, 15–17 октября 2001 г. Томск, 2002. Ч. 2. С. 72–74.
13. Гершензон-Чегодаева Н. М. Первые шаги жизненного пути. М., 2000.
14. Гиляровская Н. В. Стихи. М., 1912.
15. Голованов В. Я. К развалинам Чевенгура. М., 2015.
16. Голубчик-Гостов. Темы: II-я кн. стихов. Л., [1924].

17. Григорович Д. В. Петербургские шарманщики // Физиология Петербурга / Изд. подгот. В. И. Кулешов. Отв. ред. А. Л. Гришунин. М., 1991. С. 51–70.

18. Григорьев С. Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1959. Т. 1.

19. Гуревич Л. Я. К солнцу // Образование. 1905. № 1. С. 175–216.

20. Жолковский А. К. Две обезьяны, бочки злата... // Звезда. 2001. № 10. С. 202–214.

21. Жолковский А. К. Розыгрыш? Хохма? Задача?: О «Первом стихотворении» Набокова (2001, 2006) // Жолковский А. К. Очные ставки с властителем: Статьи о русской литературе. М., 2011. С. 412–422.

22. Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов: Записки очевидцев. Л., 1991.

23. Иванов-Разумник. Перед грозой: 1916–1917. Пг., 1923.

24. Каганская М. Л. Апология жанра / Сост., подгот. текста и прим. С. Шаргородского. М., 2014.

25. Катаев В. П. Собр. соч.: В 9 т. М., 1972. Т. 9.

26. Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 1969. Т. 7.

27. Корчемный Вен. Рассказы. СПб., 1907.

28. Куприна К. А. Куприн – мой отец. М., 1979.

29. Левин И. М. Передел. Мюнхен, 1967.

30. Лидин В. Г. Друзья мои – книги: Заметки книголюбца. М., 1966.

31. Литвинов В. В. Заглавие не придумано: Рассказы из моей жизни. Из давнего и недавнего прошлого. [М.,] 1968.

32. Макушинский А. А. «Обезьяна», или Отчасти о том же (2008) // Макушинский А. А. У пирамиды: Эссе, статьи, фрагменты. М., 2011. С. 34–45.

33. Маликова М. Э. Набоков: Авто-био-графия. СПб., 2002.

34. Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. / Сост., подгот. текста и комм. А. Г. Меца. М., 2009. Т. 1.

35. Манухина Н. Л. Смерти неподвластна лишь любовь / Сост., подгот. текста, послесл. В. Г. Перельмутера. М., 2006.

36. Мароши В. В. «Сербский» и «кавказский» тексты русской литературы: Мотивы, тропы и архетипичность персонажей // Критика и семиотика. 2012. Вып. 16. С. 298–307.

37. Нарвский листок. 1904. № 46. 12 июня.

38. Народный театр / Сост. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. М., 1991.

39. Новиков Л. А., Преображенский С. Ю. Ключевые слова и идейно-эстетическая структура стиха // Язык русской поэзии XX века: Сб. научн. тр. М., 1989. С. 13–36.

40. Пастернак Б. П. Собр. соч.: В 5 т. / Сост. и коммент. Е. В. Пастернака и К. М. Поливанова. М., 1992. Т. 5.

41. Пастернак Е. Б. Борис Пастернак: Материалы к биографии. М., 1989.

42. Перельмутер В. Г. Айсигена // Toronto Slavic Quarterly. 2006. Vol. 16. См.: <http://sites.utoronto.ca/tsq/16/manukhina16.shtml> (дата обращения: 27.05.2015)

43. Померанцев И. Я. Югославянская рапсодия (1996) // Померанцев И. Я. По шкале Бофорта. СПб., 1997 (Urbi: Лит. альманах. Вып. 10). С. 84–90.

44. Поспелов С. А. Шарманщик // Русская мысль. 1906. № 6. С. 1–36.

45. Пришвин М. М. Дневники: 1914–1917 / Подгот. текста Л. А. Рязановой, Я. З. Гришиной, комм. Я. З. Гришиной, В. Ю. Гришина. СПб., 2007.

46. Пугач В. Е. Две обезьяны: «С обезьяной» Бунина и «Обезьяна» Ходасевича // Стороны света. 2013. № 13. См.: <http://www.stosvet.net/13/pugach/> (дата обращения: 27.05.2015).

47. Ривош Н. Я. Время и вещи: Очерки по истории материальной культуры в России начала XX в. М., 1990.

48. Ронен О. Берберова (2001) // Ронен О. Из города Энн. СПб., 2005. С. 41–64.

49. Ронен О. Межтекстовые связи, подтекст и комментирование // Русская филология. 13: Сб. науч. работ молодых филологов. Tartu, 2002. С. 13–32.

50. Саськова Т. В. «Чаша жизни» И. А. Бунина в контексте мировой культуры. М., 1997.

51. Смирнов В. И. Ребята Скобского дворца. [М.,] 1964.

52. Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. М., 1954. Т. 2 / Подгот. текста, вступ. ст. и прим. В. Г. Кристи.

53. Телешов Н. Д. Случай // Нижегородский сборник. СПб., 1905. С. 305–313.

54. Толбин В. В. Петербургские савояры: Уличный тип // Пантеон. 1853. № 11. Паг. 4-я. С. 37–58.

55. Торопов В. Г. История и фольклор крымских цыган. М., 2004.

56. Федин К. А. Собр. соч.: В 12 т. М., 1983. Т. 5.

57. Федорченко С. З. Народ на войне. СПб., 2014.

58. Ходасевич В. Ф. Поездка в Порхов (1935) [Подгот. текста и комм. М. В. Безродного] // Литературное обозрение. 1989. № 11. С. 106–112.

59. Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 8 т. / Сост., подгот. текста, комм. Дж. Мальмстада, Р. Хьюза. М., 2009.

60. Шкловский В. Б. Сентиментальное путешествие. СПб., 2008.

61. Шолом-Алейхем. С ярмарки (1913–1916) / Пер. Б. Ивантер, Г. Рубина // Собр. соч.: В 6 т. М., 1960. Т. 3. С. 263–594.

62. Шубинский В. И. Владислав Ходасевич: Чающий и говорящий. М., 2012.

63. Demadre E. La quête mystique de Vladislav Hodasevič: Essai d'interprétation de l'œuvre du dernier symboliste russe. Villeneuve, 2000.

64. Hellman B. Poets of Hope and Despair: The Russian Symbolists in War and Revolution (1914–1918). Helsinki, 1995.

65. Ugrešić D. Balkan Blues / Transl. by C. Hawkesworth // Balkan Blues: Writing Out of Yugoslavia / Ed. by J. Labon. Evanston, 1995. P. 3–36.